

ОЛЬГА ЭДЕЛЬМАН

## Город чьей-то мечты

- Где ты обедала, киска?
- У королевы английской.
- Что ты видала при дворе?
- Видала мышку на ковре

«17. *Воскресенье*. В Опере.

18. *Понедельник*. Осматриваем фабрику фарфора в Севре и Версаль (смотрите «Путеводитель по Версалю 1813 г.»)

19. *Вторник*. Смотрим «Семирамиду». Мадемуазель Жорж в роли Семирамиды, Тальма в роли Арсаса.

21. *Четверг*. В театре Водевиль.

22. *Пятница*. Осматриваем Ботанический сад и Кабинет естественной истории, зверинец. Вечером идем в театр Варьете.

23. *Суббота*. Осматриваем Собор Парижской Богоматери, церковь Сен-Женевьев, церковь Сент-Этьенн, Сорбонну, Лувр. Вечером смотрим Дюшрва в роли Федры

27. *Среда*. Осматриваю Дом инвалидов, могилы Вобана и Тюренна и т. д. »

Делавший эти заметки усердный турист на самом деле — был офицером оккупационной армии. Март 1814 года. Русские в Париже.

Полтора годами ранее французы были в Москве. И поиск московских впечатлений в их текстах (письмах, дневниках) на удивление мало дает. Холод, пожар, les cosaks (непереводимые ни на один язык казаки — на десятилетия самое яркое впечатление европейцев от России). Даже Стендаль, бывший тогда Анри Бейлем, интендантским офицером Великой Армии, в письмах из России только сообщал, что в Москве до войны было несколько сотен дворцов, равных которым нет в Париже, но есть в Италии, — ибо русские вельможи вследствие деспотизма особенно стремились наслаждаться роскошью. В остальном — холод, дикий край, бескрайние болота, домой хочется.

Но ведь все классические интуристские объекты и тогда стояли на своих местах — и Кремль, и Собор Василия Блаженного, и бесчисленные церкви с колокольнями. И французы заметили факт их существования, поскольку устраивали в них бивуаки. И только. Четыре десятилетия спу-

стя Теофиль Готье ошалел от «волшебного-невероятного» Василия Блаженного: «Глядя на него, вы перестаете верить собственным глазам. Вы смотрите как будто на внешне реальную вещь и спрашиваете себя, не фантастический ли это мираж, не причудливо ли расцвеченный солнцем воздушный замок, который вот-вот от движения воздуха изменит свой вид или вовсе исчезнет. Вне всяких сомнений, это самое своеобразное сооружение в мире, оно не напоминает ничего из того, что вы видели ранее, и не примыкает ни к какому стилю: словно перед вами гигантский звездчатый коралл, колоссальное нагромождение кристаллов, сталактитовый грот, перевернутый вверх дном. Но не будем искать сравнений для описания того, что не имеет ни прототипа, ни чего-то себе подобного». Почему же, каким образом просвещенные офицеры Великой Армии этого *не заметили*? А им тогда еще никто *не успел сказать*, что это — замечательные и знаменитые достопримечательности. Объекты еще не имели репутации и остались незамеченными.

\* \* \*

А что вообще видят в новом городе путешественники из числа того, на что они смотрят? Что есть город для приезжающего?

Возьмем нескольких старинных путешественников, русских за границей и иностранцев в России. Пусть хоть самых известных: Карамзин («Письма русского путешественника»), Федор Глинка («Письма русского офицера»), маркиз де Кюстин, Теофиль Готье; добавим Александра Герцена и русских офицеров наполеоновских войн... Чтобы не потеряться в обилии подробностей, будем стараться сосредоточить внимание на трех столицах: Париж, Петербург, Москва.

Очевиден, конечно, риск любых обобщений, ведь наши путешественники ездили в промежутке от 80-х годов восемнадцатого (Миранда, Карамзин) до 50-х годов девятнадцатого века (Готье). Менялся облик городов, культурный ландшафт, ездили они по разным маршрутам, каждый со своим багажом политических взглядов, литературно-художественных вкусов, бытовых предпочтений, свойств характера, наконец. Тем не менее, их тексты позволяют выявить некоторые знаковые моменты, а в чем-то демонстрируют показательное единство. Симптоматична и сама их популярность среди современников. Наконец, местами забавно сопоставить впечатления путешественников от одного и того же.

Начнем, пожалуй, с русских за границей, по порядку, как ездили.

Николай Михайлович Карамзин отправился путешествовать в мае 1789 года, посетил германские земли, Швейцарию, Францию, Англию и осенью 1790 года вернулся домой. Он, конечно, подробно писал о дорожных впечатлениях, каретах, почтальонах, пейзажах, видах городов. Но осо-

бенно Карамзина занимали люди. Значительную часть текста занимают пересказы разговоров со случайными попутчиками — житейские истории, мнения о том — о сем, шутки, жанровые сценки. Да и в описаниях городов Карамзин, пожалуй, не меньше (а то и больше) внимания уделяет уличным сценам, прохожим, нежели улицам, домам, фасадам. Ему интересно, как люди живут, он не забывает записать, что где ел, каков был трактир, радуется, что пьет знаменитое рейнское вино непосредственно на берегу Рейна, и прочее. Описывает то, что тогда называлось «нравами» каждого из городов, где успел более-менее пожить. Это при том, что вообще-то Карамзин совершенно погружен в мир литературы, ищет места, в которых творили его любимые авторы (особенно Руссо, Стерн), которые они описывали, и там впадает в многочасовые счастливые мечтания. Карамзин, которому тогда было 23 года, оказывается чрезвычайно подготовленным путешественником: он не только прекрасно ориентируется в истории и достопримечательностях стран, которые посещает, но и знает, в каких городах искать известных ему по книгам ученых и писателей. Он совершает настоящее паломничество по профессорам, рекомендуется им, беседует, рассказывает о популярности их трудов в России, с некоторыми успеваеет подружиться и ко всем относится с отменным почтением. В Кенигсберге он является к Иммануилу Канту и подробно записывает беседу с ним, в Веймаре знакомится с Виландом, в Цюрихе общается с Лафатером — это только наиболее знакомые нам из имен. А Карамзин порывается разыскать даже какого-то автора греческой грамматики, по которой занимался.

Основная часть этих его интеллектуальных визитов относится к Германии, отчасти к Швейцарии. В Швейцарии он усердно лазает по горам и любит пейзажами. И там и там успеваеет завести друзей. А вот во Франции стиль его путешествия любопытным образом меняется. Центр тяжести перемещается от людей к культурным объектам. Карамзину удалось побывать в Лионе и Париже. В обоих городах он почему-то посетил городские больницы, чего прежде не делал. Но главным образом — церкви, памятники, скульптуры, архитектура, театр. В Париже он из театров просто не вылезал. Полюбил знаменитые кофейные дома с газетами и спорами. Однажды сходил на заседание Национального собрания, а сразу по приезде видел в церкви королевскую семью. А вот по авторам ходить перестал. Круг его парижских знакомых вообще оказался весьма невелик, дружил он там с попутчиками-немцами. Похоже, для Карамзина литературно-ученые авторитеты концентрировались в Германии, тогдашние же французские умы (а дело было ни много ни мало летом 1790 года, в разгар революции!) его не особо интересовали.

Переплыв Ла-Манш, Карамзин снова меняет манеру, все более становясь похожим на ординарного туриста, осматривающего достопримечательности — Тауэр, биржа, парламент, образцовые английские тюрьмы.

Лондон для него уже не место, где живут интересные ему авторы, не театры и кофейни, а все больше дома, витрины, мостовые и издали наблюдаемая деловая и политическая жизнь. Общается он там с русским послом, путешествующими соотечественниками и несколькими купцами, торгующими в России. Как будто бы по мере удаления от дома страны становятся ему более и более чужими. Главный интеллектуальный, культурный, человеческий интерес для Карамзина – в Германии, во Франции – скорее эстетический, в Англии – так, любопытство<sup>1</sup>...

Во времена Карамзина в русском обществе уже сложилась и в дальнейшем существовала манера отправлять молодых людей в заграничные путешествия (естественно длительные, по тогдашним средствам передвижения и представлениям о ритме жизни) для завершения образования. Тогда говорили «образовал себя чтением книг и путешествиями», «знает свет, бывал в чужих краях». Причем ездили не столько учиться в европейских университетах (хотя некоторые и учились) или что-то в этом роде, а просто побывать, посмотреть, покрутиться в свете. Считалось, что само по себе знакомство с заграничной жизнью существенно расширяет кругозор. Заодно запасались впечатлениями на всю жизнь. Отец Александра Герцена, в молодости много времени проведенный в Европе, «безмерно любил Париж» и при виде французов-учителей сына вспоминал «о фойе Оперы в 1810, о молодости Жорж, о преклонных годах Марс и расспрашивал о кафе и театрах». Пушкинский граф Нулин, которого следует отнести к середине 20-х годов, вернулся из Парижа с рассказами в первую очередь про театры и про моды.

Но такой способ образования могли себе позволить, конечно, только весьма богатые люди. Поэтому настоящим прорывом стал заграничный поход русской армии в 1813-1814 годах, обернувшийся грандиозным турпоходом для массы рядовых дворян, которым при иных обстоятельствах не видать бы Европы. Но Наполеон помог, и они этот шанс использовали сполна.

Офицеры бегали по достопримечательностям, благоговейно взирали на знаменитые исторические места, описывали в дневниках восхитительные дворцы и замки, витражи в готических соборах, восторгались романтическими пейзажами, осматривали *музеумы* и картинные галереи. Словом, вели себя как любой из нас на их месте, и даже с неведомой нам познавательной доблестью. Подполковник М. Петров в мемуарах рассказал, как, возвращаясь с товарищами в полк после госпиталя и проезжая мимо замка Вартбург (где была келья Лютера), они решили его осмотр-

<sup>1</sup> Конечно, в Англии Карамзину мешало слабое знание языка, но это также симптоматично: для образованного русского дворянина свободно говорить по-французски и по-немецки было естественно, английский же был менее популярен, и это распределение соответствовало интенсивности культурных связей.

реть, но с погодой не повезло, «от порывистой бури с дождем и по слабости сил наших после ран трудно было нам взобраться на крутизну Вартбургского шпиля», и тогда они сплотились вокруг своего лихого генерала, «мало знакомого с «нельзя», крикнувшего и тут: «За мной, друзья, ура!», мы, преодолев с ним, как и везде, и бурю и крутизну осклизлого восхода, взобрались по 200 ступеням, вырубленным в каменной почти отвесной отлогости», — и досконально осмотрели замок.

Заметим, что господа офицеры, среди которых далеко не все были хорошо образованы, тем не менее демонстрировали и любознательность, и определенную подготовленность, они *знали заранее*, что им предстоит увидеть. Знали, где что искать, отпрашивались у командиров сделать крюк, заехать в такой-то город посмотреть то-то и то-то.

Как и для Карамзина, *образцовой культурной* Европой для них была Германия. Походные дневники русских воинов изобилуют разнообразными наблюдениями: ухоженные поля и дома, ирригационные канавки, остроумная конструкция мельничного колеса, рыбу из пруда на зиму пересаживают в незамерзающие садки и прочее, и прочее. Им интересны любые житейские, бытовые мелочи. В Германских землях они видели идиллию. Федор Глинка (будущий декабрист) описывает, например, обед у обычного фермера, — «я подумал было, что это дом если не князя, то, по крайней мере, какого-нибудь барона; но мне сказали, что владелец его даже не дворянин! Крайне бы удивился сему, если б это было не в Саксонии», — дочери хозяина играли на фортепьянах, показывали свои рисунки, занимали гостей беседой о литературе и успевали хлопотать на кухне и собственноручно накрывать на стол (русские барышни про кухню и стол не умели!). Мораль: вся эта прелесть происходит от добродетели и неиспорченности нравов, чему способствует разумный политический уклад («Многие офицеры наши, прельщенные благоустройством и нравственностью тамошних обитателей, вникали в основание того и видели благоденствие их исходящим от степени приобретения улучшений нравов гражданских и земледельческих, основанных на образе домашних уставов и по ним добродетелей древних римлян», — пишет подполковник М. Петров). Впоследствии многие члены декабристских тайных обществ указывали именно на впечатления заграничных походов как на источник своего вольнодумства.

(Иногда немецкая добропорядочность оборачивалась определенными неудобствами: некий юный поручик сетовал, что в немецких землях трудно найти публичных девок. А какие есть — плохи и дороги.)

На германские порядки и обычаи русские офицеры смотрят «хозяйственным глазом»: что бы полезного перенять. Конечно же, постоянно проводят мысленную параллель с отечеством. Позднее Герцен так сформулировал известный российский комплекс: «Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, — с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каж-

дую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая». Но: нашим военным туристам 1813 года как раз этот комплекс не был свойственен, при всей их готовности умиляться и подражать. На тот момент они были победителями, освободившими уютную Германию от Наполеона. Их весьма забавляла реакция на них европейцев, особенно, видимо, французов, удивлявшихся, что русские не выглядят дикарями. «Иные удивлялись чистоте выговора нашего и приятности наречия, воображая прежде, что русский язык есть не что иное как варварское лепетанье» (Н. Бестужев). На этом фоне господам офицерам приятно было блистать культурным видом, знанием иностранных языков и образованием. К тому же они очень даже не прочь были порассуждать, что наш-то русский мужичок на поверку сообразительней ученого в университетах немца. За карамзинской любовью знакомиться с учеными авторами просматривалось желание показать им, что и в далекой России умеют ценить просвещение. Офицеры 1813 года, пожалуй, видели в Германии некий прообраз будущего для России, когда просвещение и исправление нравов принесут плоды. Они были полны оптимизма (победа, победа!).

Сходным образом воспринимал Голландию находившийся там с флотской командой будущий декабрист Николай Бестужев. Ему живо интересны опять же любые бытовые детали: планировка домов, уклад жизни (голландцы почти не ходят друг к другу в гости, но мужчины вечера проводят в клубах, прислуга в домах немногочисленна), устройство корабельных верфей, рынков, мостов, каких-то тележек для грузов. И конечно же знаменитые плотины. Он попутно приводит сведения из истории, называет численность населения и годовой бюджет страны. Отмечает чистоту, описывает неведомый тогда в России торф и способ его добычи («режут дерн в сих болотистых ямах, рассекают плитками, сушат и обжигают, ибо без сего предварительного действия он не годится к употреблению»). Посмеивается над голландской экономностью, переходящей в прижимистость: «голландцы чай пьют с толченым сахаром, чтоб вернее меру сахару положить ложкою» (в России тогда сахар употребляли кусковой, колотый).

Но вот армия входит во Францию и тональность записей меняется. Победители Наполеона шли с готовым выводом: вот к чему приводят необузданное буйство страстей, ложно понятое просвещение и проистекающие из них революционные безобразия. Карамзин еще любовался на «прекрасные деревеньки, каких не находил я ни в Германии, ни в Швейцарии», но почему-то их вид навел его на элегические размышления о том, что «может быть, в течение времени сии места опять запустеют и одичают; может быть, через несколько веков (вместо сих прекрасных девушек, которые теперь перед моими глазами сидят на берегу реки и чешут гребнями белых коз своих) явятся здесь хищные звери и заревут, как в пустыне африканской!.. Горестная мысль!» — восклицает Николай Михайлович и пускается в сопоставления с историей древнего мира. Пусть, — утешает-

ся он, «там, где жили Гомеры и Платоны, живут ныне невежды и варвары», но «с падением народов не упадет весь род человеческий», цивилизация переместилась на север Европы, и мы видим «в Кенигсберге Канта, перед которым Платон в рассуждении философии есть младенец».

Это он говорил спустя менее года после взятия Бастилии. В 1814 году, после революционных войн, якобинского террора, войн наполеоновских, русские видят разоренную страну, деревни, почти лишённые мужского населения, оборванных жителей в поражавших наших лапотников деревянных башмаках (задаются вопросом, как французские крестьяне себе не стирают ног). Грязь и нищета. «Здесь начинаются деревянные дома, или, точнее говоря, их подобие, состоящее из нескольких балок, расположенных довольно далеко одна от другой, промежутки между которыми заполнены глиной или известью, смешанной с рубленой соломой. В самых больших из них имеется лишь одно окно, в других вовсе нет ни окон, ни печей, ни пола — вот то, что французы называют своей Прекрасной Францией», — это деревня. А вот и город (в данном случае Труа): «Город весьма большой, но грязный, плохо застроенный, нет даже главной площади. Улицы узкие. Некоторые дома, даже двухэтажные, имеют только одно окно, которое выходит на улицу».

Грязь после Германии их особенно поражала. Особенно — неопрятность французских кухонь и кухарок. Что, впрочем, еще Карамзин отмечал. Озадачивали русских и иные «французские дурачества»: хотя в России французы высказывали «отвращение к черному хлебу русских крестьян», «мы нигде во Франции не могли найти белого хлеба, даже в самых больших городах, как Труа, Лангр и т. д. Только нескончаемые муки голода могли заставить нас взять несколько ломтей их абсолютно кислого хлеба. В Лангре был только один булочник, выпекавший белый хлеб». Это все заметки из походного дневника Александра Черткова, тогда молодого шалопа, но в будущем одного из крупнейших русских коллекционеров, нумизматов и библиофилов, собрание которого послужило основой для ныне существующей московской Исторической библиотеки. Он же с изумлением записывал, что «французские крестьяне не могут обходиться без ночных горшков, и самый бедный из них, у которого нет даже хлеба, имеет один или два горшка в своей лачуге» (наши-то на двор бегали).

Во Франции русских дворян ждал еще один небанальный культурный шок. Они ведь привыкли, что свободное владение французским языком свойственно в первую очередь элегантным знатым дамам. И во французских домах, услышав за стеной приятный женский голос, говорящий по-французски, немедленно воображали себе красавицу-маркизу в изгнании, кидались к ней — и обнаруживали старую растрепанную кухарку в засаленном переднике... В сущности, в этом и есть парадигма русского отношения к Франции (особенно к ней): я готов тобою восхищаться, но ты будь любезна соответствовать моим ожиданиям.

Но вот армия добралась до Парижа — и началось: Тюильри, Люксембургский дворец, галереи Лувра (при Карамзине их еще практически не было — массу художественных ценностей вывез из Италии Наполеон), Ботанический сад и прочее, и прочее. Тогда же кто-то из них пошутил, что непонятно, чего ради *от всего этого* Наполеона понесло — в Оршу? Прошедшие войну офицеры живо интересовались и восхищались Домом Инвалидов — непревзойденной по тем временам богадельней для военных ветеранов.

Как французы в 1812 не оценили храма Василия Блаженного, так и для русских тогда набор почитаемых архитектурных памятников был несколько иным, чем ныне. В эпоху классицизма не особо ценилась готика. Нотр-Дам и крупнейшие храмы осматривали, но, скажем, упоминаний об очаровывающем всех сейчас Сен-Шапель нету.

Главное же, что привлекало и русских 1814 года, и всех прочих путешественников в Париже и ранее, и позднее — это в первую очередь, как мы могли уже заметить, театры, где они проводили все вечера напролет. В ту эпоху, как видно, театры никакой другой страны не могли сравниться с парижскими.

Кроме того, в Париже русских очаровывали рестораны (в России они только-только начинали появляться), кафе с газетами и политическими дебатами (чего у нас отродясь не водилось). То есть парижский образ жизни. Поражали и сами парижане. Путешественники дивились постоянному многолюдству парижских улиц, ощущению всеобщей спешки, «непрестанного движения», круговерти. «Сей неопикуемый шум, сие чудное разнообразие предметов, сие чрезвычайное многолюдство, сия необыкновенная живость в народе привели меня в некоторое изумление. — Мне казалось, что я, как маленькая песчинка, попал в ужасную пучину и кружусь в водном вихре» (Карамзин). Кстати, наши соотечественники отмечали, что французы напиваются в кабаках не хуже русских, «разница та, что пьяный француз шумит, а не дерется».

В ту эпоху истинным средоточием парижской жизни был Пале-Рояль: там находились сад для гуляний, множество модных лавок, кофеен, ресторанов, игорных домов и борделей. Там постоянно толкалась публика, там Камилл Демулен призывал народ к оружию накануне штурма Бастилии, оттуда начинались и другие важнейшие движения революции.

Наши соотечественники относились к Пале-Роялю по-разному, кто приходил в восторг, а кто и возмущался распущенностью нравов и открытым процветанием пороков. Но не миновал этого места никто из них. Добродушный Карамзин отнесся к нему с сентиментальной жизнерадостностью: «Тут спектакли, клубы, концертные залы, магазины, кофейные дома, трактиры, лавки; тут живут блестящие первоклассные нимфы; тут гнездятся и самые презрительные. Все, что можно найти в Париже (а чего в Париже найти нельзя?), есть в Пале-Рояль ... Приходи в Пале-Рояль

диким американцем и через полчаса будешь одет наилучшим образом, можешь иметь богато украшенный дом, экипаж, множество слуг, двадцать блюд на столе и, если угодно, цветущую Лаису, которая всякую минуту будет умирать от любви к тебе. Там собраны все лекарства от скуки и все сладкие отравы для душевного и телесного здоровья, все средства выманывать деньги и мучить безнадежных, все способы наслаждаться временем и губить его. Можно целую жизнь, и самую долголетнюю, провести в Пале-Рояль, как волшебный сон, и сказать при смерти: «Я все видел, все узнал!»». Склонный к строгому морализму Федор Глинка соглашался, что в этом месте «можно все найти и все потерять», «тут в один день можно испытать почти все, что обыкновенно с человеком случается в целый его век», но сам склонен был полагать, что «Если б дошли до нас подробные летописи Содома и Гомора, посженных небесным огнем, то ручаться можно, что разврат, погубивший эти города, не мог превзойти того, в котором тонет Париж». В подтверждение своих слов он подробно описывает все опасности, поджидающие там молодого человека: «И сюда-то неблагоприятные отцы, с великими истратами родовых имений, посылают детей своих!!!»

Дело было не только в строгом следовании правилам нравственной жизни. Для русских той поры отношение к Парижу, к Пале-Роялю как его квинтэссенции, неизбежно и неминуемо сводилось к отношению к революции. Карамзин, добрый и разумный консервативный монархист, летом 1790 года изо всех сил старался революции не замечать. Он почти о ней не говорит. Так, кое-какие анекдоты. Однажды с изрядной иронией описал заседание Народного Собрания (он туда и сходил-то напоследок, когда уже изучил все надгробия по церквям и города, и пригородов). Рассказывая о домах, где бывал, многократно повторяет, что «Париж теперь не тот», что был еще недавно, аристократия разъехалась, знаменитые салоны исчезли. В целом его позиция: «Не думайте, однако ж, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре! Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает счастлива.» И добавляет, что пока дворянство и духовенство показали себя «худыми защитниками трона». В 1790 еще можно было себе позволить так думать.

Русские 1814 года, независимо от политических пристрастий, сходились в одном: их возмущало взбалмошное непостоянство парижской толпы. На их глазах «чтобы доказать свою приверженность к нашему государю» (Александр I), парижане сбросили с постаменты статую Наполеона на Вандомской площади. Хорошо помнившие историю русские пускались припоминать, как накануне революции парижская беднота благо-

словляла короля, оплатившего для нее дрова холодной зимой; как затем она же приветствовала казнь короля; затем казни своих недавних кумиров вроде Дантона или Робеспьера; как недавно еще перевозила Наполеона. А теперь все нацепили белые кокарды во славу Бурбонов. У непривычных к политическим движениям русских такая скорость перемен мнений вызывала отчетливое презрение.

Прошли годы, и сын обожавшего фойе парижской Оперы в 1810 году отца, родившийся в год нашествия французов на Москву Александр Герцен приехал в Париж. Аккурат под начало очередной революции, 1848 года. Его, человека целеустремленного, вообще интересовала всецело и главным образом революция. «Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: “à la Bastille!”» Точно так же москвич Герцен, говоря о первом своем приезде в Петербург, по части знакомства с городом ограничивается сообщением, что сразу бросился на Сенатскую площадь — место восстания декабристов. А в Лионе осматривал места недавних расстрелов рабочего восстания.

В остальном же — «*Париж — столичный город Франции, на Сене...* мне хотелось только испугать вас; не стану описывать виденного мною: я слишком порядочный человек, слишком учтивый человек, чтобы не знал, что Европу все знают, что всякий образованный человек по крайней мере состоит в подозрении знания Европы, а если ее не знает, то невежливо ему напоминать это. Да и что сказать о предмете битом и перебитом — о Европе?» (Герцен).

Действительно, образованная часть русского общества знала Европу очень хорошо. Еще во времена Карамзина, как показывает его собственный пример. Русские свободно владели языками (французским, немецким), не только знали европейскую историю, но в ходе путешествия постоянно пребывали погруженными в нее, каждый шаг заставлял их мысленно обращаться к прошлому. «Много жил этот край! много жила вообще Европа. Десятки столетий выглядывают из-за каждого обтесанного камня, из-за каждого ограниченного суждения; за плечами европейца виден длинный преемственный ряд величавых лиц, вроде процессии царственных теней в “Макбете”» (Герцен). — В этом они остро чувствовали контраст с собственной землей, не столь густо нашпигованной историческими воспоминаниями.

Да и свои, русские города воспринимались несколько на иной манер. Если перебрать в памяти хотя бы картины наших городов в русской литературе, то, пожалуй, создается впечатление, что у нас город — это улицы и здания. Провинциальный город — неизбежная площадь с церковью и присутственными местами да невысыхающей лужей в качестве главной достопримечательности. Москва — церкви, купола, Кремль, Тверская; Петербург — Исаакий, набережные, Невский, Зимний и так далее. За фа-

садами домов — это уже как бы не город, а скорее частная жизнь. Тем-то Париж и захватывал, что он был город — образ жизни (кафе, театры).

Конечно же, в Париже делали покупки, просаживая целые состояния. Что можно захватить с собой от парижского образа жизни? — Конечно же, модные штучки. Граф Нулин, как мы помним, возвращался оттуда

*С запасом фраков и жилетов,  
Шляп, вееров, плащей, корсетов,  
Булавок, запонок, лорнетов,  
Цветных платков, чулков à jour,*

— а также входивших в модный ассортимент романом новым Вальтера Скотта, мотивами Россини, остротами парижского двора.

Все это были именно предметы роскоши. Не то чтобы дома булавок не было — но парижские вещицы были шикарнее. А магазины — увлекательнее. Но: дореволюционные русские путешественники были очень и очень далеки от мировосприятия советских туристов, мерявших заграничную жизнь содержимым прилавок, пресловутым «в магазинах все есть». Карамзину или Герцену такого бы ни в каком бредовом видении в голову не пришло... У них были свои критерии. Демократ Герцен в «Письмах из Франции и Италии» сделал длинное отступление от революционных событий, описывая, что в Париже быт продуман так, что можно прекрасно обходиться без собственной наемной прислуги (на родине его сильно удручало количество бездельничающей дворни в барских домах). Впрочем, домашних слуг в этой удобной системе заменял... проворный портье! Иначе никак не получалось («Не будучи диким или Жан-Жаком, как же обойтись без частной прислуги?»).

Удобный, элегантный, обаятельный парижский образ жизни все время хотелось как-то перевезти, привить у себя в России. Кое-что получалось, хоть и не без труда и лишь отчасти. Русские гляделись в Европу, как в зеркало, ища там свой образ, свои недостатки, свое будущее. Поэтому Европу они знали очень хорошо и глубоко. Не только поверхностные вещи — моду, достопримечательности, — но и историю, принципы государственного устройства, право, статистические сведения, социальную практику. Сложность русского положения относительно Европы была в том, что мы оттуда все время что-то перенимали. Чтобы к нам от них текла вода, у нас уровень воды должен быть ниже, верно ведь? Следовательно, русские неизбежно испытывали ощущение неполноценности, отсталости, являвшееся, собственно, условием успешных культурных заимствований.

В годы первой мировой войны группа русских военнопленных, офицеров и солдат, содержалась в немецком лагере вместе с пленными союзниками, французами и англичанами. Офицеры, сами не страдавшие от языкового барьера, интересовались у солдат, как же те общаются с иностранными пленными.

ранными товарищами по заключению. — «Да как с ними говорить, ваше благородие, они ведь всего два русских слова знают: бонжур да мерси» (это подлинный анекдот, записанный тогда же кем-то из офицеров).

При этом русские не уставали дивиться (и обижаться) на меру европейского невежества касательно России. «Странно, что все европейцы имеют особенные понятия о нас, русских, с тою разницею, что одни думают страннее других. [...] Мы, русские, знаем даже, что в Гишпании едят Оллу-пориду и пляшут саробанду, что турки запирают жен своих, что караибы убивают отцов, что голландцы скупы и хорошо солят сельдей, что французы скоры и легкомысленны, — каждый из европейцев глядит на нас до сих пор как на чудо: голландец удивляется, что у нас нет такой бороды, как у казаков, по коим он судил о целой нации; француз думает сделать вам чрезвычайную учтивость, сказав, что вы похожи на француза, а, кажется, оружие русских довольно показало характер и обычаи наши всей Европе» (Н. Бестужев, 1814 год). Патриотичный Федор Глинка восклицал, глядя на портрет Генриха IV: «Представьте, что Генрих ходил в бороде, и она не мешала ему быть умным и любезным... Отчего ж предков наших называют варварами именно за то, что они ходили в бородах?» Маркиз де Кюстин записал слова императрицы Александры Федоровны: «Если мы вам понравимся<sup>2</sup>, вы скажете об этом, но напрасно: вам не поверят; нас знают очень мало и не хотят узнать лучше».

Теофиль Готье писал, что в детстве Москва сильно занимала его воображение, но узнать о ней возможно было немного: «Всего несколько лет назад парижанину Москва представлялась очень смутно, где-то бесконечно далеко, в свечении пылающего по всему небу северного сияния, в заре зажженного Ростопчиным пожара возносила она к небу свою византийскую диадему, щетинящуюся причудливыми башнями и колокольнями среди вспышек пламени и дыма. Это был легендарно огромный и химерически далекий город, воздвигнутая в снежной пустыне тиара из драгоценных камней, о которой вернувшиеся в 1812 году рассказывали в некотором оцепенении: ведь для них город превратился в вулкан».

В самом деле, с какими культурными впечатлениями должны были вернуться французы? Огромное пространство, леса да болота, мало что язык непонятен, еще ведь и население при их приближении бросало дома и куда-то исчезало, оставляя лишь внезапно нападавших и жестоко расправлявшихся с пришельцами партизан. Запылавшая Москва. Французы были уверены, что поджигали русские. В 1814 году завоеватели легко и непринужденно вписались в парижские развлечения. — Россия французов отторгала абсолютно и насовсем. Что они могли о ней узнать? По части культуры?

<sup>2</sup> Т. е. Россия.

Иностранцы в Россию ездили, разумеется. Многие здесь и оседали, оставались. Иные по возвращении публиковали описания путешествия или мемуары. Не будем брать из них ни Александра Дюма с его развесистой клюквой, ни, скажем, Ш. Массона — тот слишком долго пробыл при дворе Екатерины II и написал не путевые заметки, а мемуары придворного. Возьмем Кюстина и Гютье.

Теофилю Гютье в России все нравилось, Кюстину — все не нравилось. Проехали они по одним и тем же местам с интервалом в два десятилетия (Кюстин в 1839, Гютье в 1859), за которые страна изменилась, но не настолько, чтобы нельзя было сравнивать их тексты. Тем более, кажется, Гютье находился в непрерывной полемике с Кюстином и подобными ему.

Это были оптимист-эстет и пессимист-демагог. Вот хоть вид — нейтральнее некуда: новое для обоих северное небо.

Кюстин в июле: «Это полярное зрелище вознаграждает меня за все тяготы путешествия. В этой части земного шара день — бесконечная заря, вечно манящая, но никогда не выполняющая своих обещаний. Эти проблески света, не становящегося ярче, но и не угасающего, волнуют и изумляют меня. Странный сумрак, за которым не следуют ни ночь, ни день!.. ибо то, что подразумевают под этими словами в южных широтах, здешним жителям, по правде говоря, неведомо. Здесь забываешь о колдовстве красок, о благочестивом сумраке ночей, здесь перестаешь верить в существование тех счастливых стран, где солнце светит в полную силу и творит чудеса. Этот край — царство не живописи, но рисунка. [...] природа, освещенная этим бледным ровным светом, подобна грезам седовласого поэта — Оссиана, который, забыв о любви, вслушивается в голоса, звучащие из могил».

Гютье в октябре: «Яркий, но холодный свет струился с ясного неба: то была северная, полярная лазурь молочных, опаловых, стальных оттенков, о которой мы под нашим небом не имеем ни малейшего представления. Чистое, белое, звездное сияние исходило будто не от солнца, точно в сновидении я перенесся на другую планету. Под этим молочным сводом огромная пелена залива окрашивалась в непередаваемые цвета, среди которых обычные тона воды вовсе отсутствовали. Как в створках некоторых раковин, возникали то перламутрово-белые оттенки, то неопикуемой тонкости жемчужно-серые. Дальше — матовая или струйчатая голубизна, как на дамасских клинках, или еще радужные отсветы, похожие на поблескивание пленки на плавящемся олове. За зоной зеркальной глади следовала муаровая лента, и все такое легкое, расплывчатое, такое смутно-прозрачное, сияющее, что палитра и словарь оказываются бессильными перед эдакой красотой».

Действительно, европейцы в первую очередь ехали в другую климатическую зону. Главное ожидаемое впечатление от России — снег и мороз.

Еще Карамзин встретил в дороге парижского купца, который «в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы». Готье вот тоже нарочно под зиму отправился.

К третьему десятилетию девятнадцатого века в России уже побывало достаточно иностранных путешественников, существовали путеводители, — так что список основных русских достопримечательностей более-менее определился. К тому же эстетика романтизма требовала восхищаться экзотикой, готикой, необычностью, а классицизм считать скучным и бездушным. Стало быть, русский архитектурный стиль из незаслуживающего внимания варварства переходил в разряд увлекательных национальных особенностей. Теперь наши вояжеры обращают внимание примерно на одни и те же объекты — в Москве Кремль, Василий Блаженный, соборы, сокровища Оружейной палаты, в Петербурге — Медный Всадник, Невский проспект, Зимний дворец и так далее.

Маркиз де Кюстин, как не раз уже о нем писали, был человеком глубоко ущербным. Из числа детей — жертв революции: дед и отец гильотинированы, мать якобинцы казнить не успели. Сейчас психологи сделали бы вывод о глубокой детской психической травме маркиза, но в ту пору психологов не было и жили проще. Чудили да брюзжали. К тому же наш маркиз был гомосексуалистом, что не способствовало социальной адаптированности.

В Россию Кюстин отправился... выяснять отношения с французской революцией. Хотел, видите ли, привезти впечатления о том, как благоденствует империя при неограниченной всякими глупостями монархии. Вместо того стремительно сменил мнение на противоположное и вывез стандартный вывод об ужасах самодержавия. Поскольку все это Кюстин излагает уже в предисловии, а все свое путешествие описывает в мрачных обличительных тонах, читателю остается как-то неясно, где же следы первоначальной готовности к положительным впечатлениям и эволюции взглядов под влиянием увиденного. У маркиза всю дорогу выводы предшествуют реальным наблюдениям и малейший повод влечет за собой длиннейшие самоуверенные доктринерские рассуждения. Главным образом о неперемнной склонности русских к рабству и во всем проявляющемся деспотизме. Известно, что Николай I был сильно обижен на Кюстина. Гадостей во французской печати про императора писалось в избытке, но Кюстин был человеком, которого в России исключительно хорошо и радушно принимали. Но такой уж характер.

Маркиз находил, что вся мягкая мебель в русских домах набита клопами, что балтийский флот — бессмысленная и дорогая царская игрушка, петербургские улицы и площади ненормально велики, архитектура классицизма нелепо смотрится в северной стране, комнатные растения чахлы и жалки, на пространстве от Питера до Москвы нет лесов. А главное — повсюду шпионы. Из-за них он избегал общения с русскими, смешным об-

разом перепрыгивал свои бумаги (хотя, кто он был такой, что такого делал, чтобы так бояться соглядатаев?<sup>3</sup>). Лишь покидая Петербург, Кюстин не выдержал и признался, что город неповторимо красив. Точно так же в Москве поддался впечатлениям («я не представлял себе, до какой степени удивителен вид этого города на холмах, внезапно, словно по волшебству, вырастающего из-под земли среди огромного гладкого пространства»), но тут же все свел к рассуждениям о старомосковском деспотизме («Наследие сказочных времен, когда всюду безраздельно властвовала ложь: тюрьма, дворец, святилище; крепостной вал для защиты от иноземцев, укрепленный замок для защиты от черни, оплот тиранов, тюрьма народов — вот что такое Кремль!»).

Будь книга Кюстина просто брюзжанием и клеветой, она оказалась бы в одном ряду с тьмой памфлетов-однодневок: русская угроза ведь и тогда активно обсуждалась европейской прессой. Но книга Кюстина пользовалась большой популярностью в том числе и среди русских, с самого своего появления она прочно заняла почетное место в списках активно читаемой запрещенной литературы. Более того, полный перевод ее появился у нас всего несколько лет назад. Стало быть, маркиз метко попал в какие-то болевые точки, и это сделало его текст актуальным для русских либералов, заглядывавших в европейское зеркало.

Кюстин все время возвращается к одному и тому же мотиву, и в нем видится отправная точка к объяснению его раздражения. «Меня поражает неумеренная тревога русских касательно мнения, какое может составить о них чужестранец; невозможно выказать меньше независимости; русские только и думают, что о впечатлении, которое произведет их страна на стороннего наблюдателя. Что случилось бы с немцами, англичанами, французами, со всеми европейскими народами, опустились они до подобного ребячества? ... Мне кажется, что они согласились бы стать еще более злыми и дикими, чем они есть, лишь бы их считали более добрыми и цивилизованными. Я не люблю людей, так мало дорожащих истиной», — с пафосом заключает наш маркиз.

Только дело-то не в *истине*: «Я не упрекаю русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы». — Вот оно!

Русская дама говорит Кюстину: «Мы больше похожи на французов старого времени (т. е. дореволюционных), чем другие европейские народы». — «Не могу вам передать, — реагирует галантный маркиз, — чего мне стоило смолчать и не сказать ей резко и решительно, что ни о каком сходстве наших народов не может быть и речи».

<sup>3</sup> В принципе, сильно свойственная Кюстину мания видеть всюду шпионов и клопов симптоматична и может свидетельствовать о психическом неблагополучии.

То и дело возвращается он к этому: «Их цивилизация — одна видимость; на деле же они безнадежно отстали от нас и, когда представится случай, жестоко отомстят нам за наше превосходство». Разговоры о русской угрозе, равно как и обличения русского режима, — не более чем благопристойные прикрытия. На самом деле, конечно, проблема именно в притязании русских на европеизм вкупе с готовностью видеть в Европе учителя. Настоящим дикарям и азиатам, согласитесь, обвинений в подражательстве никто всерьез не предъявляет.

Кюстин по дороге в Россию рассуждал, что ему доводилось встречать светских русских людей двух категорий: одни «из осторожности и из самолюбия без меры расхваливают свою страну», другие «желая прослыть особами изысканными и просвещенными» отзываются о ней с «глубочайшим презрением»; «я мечтаю, — заключал маркиз, — отыскать третью разновидность — обыкновенных русских, я не оставил надежды найти ее». Он в общем-то хотел увидеть страну, как она есть. Увидел. И вот реакция, на примере Москвы: «поэтический город, не похожий ни на один город в мире, город, чья архитектура не имеет ни имени, ни подобия».

Русский город как он есть озадачил Кюстина: он не вмещался в классификации. Непонятно, чем его счесть. То и дело маркиз пытается приложить к нему хоть какой-никакой шаблон: «своего рода северный Акрополь, варварский Пантеон, эта национальная святыня заслуживает имени славянского Алькасаара»; «сухопутный Византий»; «русским архитекторам следовало бы брать пример не с греков и римлян, но с кротов и муравьев» (маркизу кажется, что это более соответствовало бы климату). Понятно, в общем, что все эти сравнения неудовлетворительны. Для искомой русскости у европейца не оказалось заготовлено образа, мифа. Все время хочется ему как-то вписать Россию в экзотические восточные рамки — но она явно не вписывается. Экзотики вообще мало, и путешественники на это сетуют (и Теофиль Готье тоже, хотя и с большей доброжелательностью, — но хочется ему побольше национального колорита). В сущности, когда Николай Бестужев рассуждал о том, что русские знают о странах Европы, он тоже ссылался на традиционные, ходячие шаблоны: голландцы — селедка, испанцы — сарабанда, турки — гарем.

В европейских глазах образ России мерцал и расплывался. Неясно было, как сформулировать русский миф. И вот Кюстин выбрал для увиденного модель описания, худо-бедно склепанную на расстоянии французской политической публицистикой: полицейский режим, император с оловянными глазами, рабство, цензура, угроза агрессии в Европу. Модель оказалась применима для описания определенного среза политического бытия Российской империи, хоть, может, и в несколько утрированном виде. Не зря книга Кюстина не была отвергнута вольнодумствующей русской публикой, которая нашла в ней горькое зеркало, отражавшее родимые болезненные язвы.

Модель в общем-то годилась, но в ограниченном поле политико-военном. Не хватало чего-то вроде гаремов, селедки или фламенко. Кюстину, при всем его многословии, не удалось найти подходящего образа.

Писатель Теофиль Готье отправился в Россию с целями сугубо эстетическими. Он, кажется, единственный из всех упоминаемых нами путешественников, не был озабочен никакими революциями. Он собирался изучить Эрмитаж и другие русские музеи и собрать материал для предполагаемой большой работы «Сокровища русского искусства».

Готье путешествовал с распахнутыми глазами, фиксировал поток впечатлений со старательностью кинокамеры и от всего получал удовольствие. Испортить ему настроение не смогла даже невыносимая езда в телеге на обратном пути. Под его пером искрился снег, серебрился иней, мороз пьянил, женские лица расцветали, «в глубине очищенного от туманов небосвода горят большие и бледные звезды, и сквозь тьму на золотом куполе Исаакиевского собора, словно неугасимая лампада, сияет лучистый отсвет». Выпавший снег изящно и парадоксально подчеркивает детали классических фасадов, Исаакиевский собор — «наивысшее достижение современной архитектуры», театральные премьеры в Петербурге идут почти одновременно с парижскими, полицейский офицер на таможне свободно говорит на всех европейских языках; «теплая атмосфера домашнего печного отопления ласково окутывает ваше замерзшее тело», клопов он вообще нигде не встретил, а русские простолюдины регулярно посещают бани и гораздо плотнее какой-нибудь парижанки, слепленной из кольдкрема. «У русских есть правило — не опаздывать», кучера носятся чрезвычайно быстро, конструкция экипажей проста и остроумна, лошади великолепны. «Комнаты больше и шире, чем в Париже. Наши архитекторы, столь искусные в деле создания сот для человеческого улья, выкроили бы целую квартиру, и часто и в два этажа, из одной санкт-петербургской гостиной». Дома полны чудесной тропической зелени и экзотических цветов, обставлены элегантно и удобно, только в России можно отведать шампанское «Вдова Клико» (оно дорогое, и французы на нем сэкономили, в отличие от русских), и «один кусочек волжской стерлядки на изящной вилочке стоит путешествия».

Готье много общался в русском обществе, приобрел там друзей, вошел в кружок петербургских художников и целые главы своей книги посвятил таланту акварелиста М. Зичи и пятничным собраниям художников. Он отмечал свободное владение французским языком, начитанность, в том числе среди женщин. «Я удивился, что здесь были в курсе всех мельчайших подробностей нашей литературной жизни». Народ отличается искренним благочестием, а богослужение таинственно и торжественно.

Между прочим, и Кюстин, и Готье писали, что в уличной толпе непропорционально мало женщин<sup>4</sup>, народные мужские лица отмечены пра-

<sup>4</sup> Они объясняли это традиционным укладом жизни, считая, что женщины мало выходят на

вильной классической красотой (если бы это нашел один Кюстин — можно было бы усмехнуться, но Теофилю Готье поверим), простолюдинки же, напротив, некрасивы, неприметны и совершенно не заботятся об одежде, носят грубые мужские сапоги. Оба тщательно описывали народный костюм, удивляясь безобразию сарафана, стянутого подмышками, скрывающего талию и уродующего грудь<sup>5</sup>. Готье радовался нарядным кормилицам в кокошниках, но отмечал, что сам по себе этот костюм отходит в прошлое.

Ему действительно не хватало национального, фольклорного. Россия у Готье получилась вполне европейской страной, кое в чем даже опережающей по части цивилизованности (в бани ходят...). Разница в климате да присутствии азиатских элементов, которые, как он вполне понимал, не были чисто русскими — официанты из калмыков и татар, царский конвой из лезгин<sup>6</sup>, у дам «на запястье бывает надето несколько золотых браслетов с плоскими цепочками, сделанных в Черкесии, на Кавказе, и в туалете дамы единственных свидетелей того, что вы находитесь в России». Собственно русскость наблюдательному писателю ухватить не удастся. Находятся кое-какие бытовые особенности: чай пьют не из чашек, а из стаканов, из мебели предпочитают диваны, — да в общем ерунда.

Путешественников поражает молчаливость русской уличной толпы<sup>7</sup>. «Зеваки мирно разошлись, без заторов, без свалки, по обычаю самой спокойной в мире русской толпы». Воспитанные, элегантные горожане, мытые молчаливые простолюдины, спокойные светлоглазые лица с правильными чертами.

Так и осталась Россия — совершенно непонятно чем.

улицу. Впрочем, для Петербурга преобладание мужского населения было демографическим фактом.

<sup>5</sup> Забавно, что ровно теми же словами Карамзин критиковал платье швейцарских поселенцев: «жаль, что здешние красавицы немного безобразят себя одеждою, например, подвязывают юбку под самыми плечами, и кажется, будто они в мешках зашиты».

<sup>6</sup> «Какие воинственные и гордые лица, какая дикарская чистота типов, какие тонкие, изящные и нервные тела, какое изящество движений!»

<sup>7</sup> Косвенным, зеркальным образом эту особенность подтверждают и русские путешественники, удивлявшиеся шуму и суете парижских улиц.